

КРОВЬ НА ПЕРЬЯХ



ЭЛИНА АВДЕЕВА

Элина Авдеева

Кровь на перьях

«Автор»

2026

Авдеева Э.

Кровь на перьях / Э. Авдеева — «Автор», 2026

Власья — писарь Смерти. Каждый вечер она садится за Книгу и обводит имя человека, который умрёт через три дня. Она не знает их лиц. Не знает их имён. Она просто пишет. Так учили. Так надо. Так велит Судьба. Пока однажды на странице не проступает имя — Радомир, сын Любомира. Через час он входит в её дверь. Высокий. С книгой под мышкой. С кривым воротником и ямкой на щеке. Он читает запрещённые книги ночами и улыбается так, будто смерть — это просто ещё одна история. Теперь у Власьи есть три дня. Три дня, чтобы спасти того, кого она должна убить. И всего одна ночь, чтобы понять: у спасения есть цена. И цена эта — жизнь её брата. Она может спасти одного. Но не обоих. А Книга уже переворачивает страницу. «Кровь на перьях» — история о любви, которая сильнее Судьбы, и о цене, которую платят те, кто осмелился её переписать.

© Авдеева Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ПРОЛОГ	6
ГЛАВА 1. «ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ»	8
ГЛАВА 2. «ЧАС ТИШИНЫ»	12
ГЛАВА 3. «БИБЛИОТЕКА»	16
ГЛАВА 4. «ТРЕТИЙ ПУТЬ»	22
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Элина Авдеева

Кровь на перьях

ПРОЛОГ

Триста лет назад я был писарем.

Я сидел в скриптории, глядя на оплывшую свечу, и обводил имена. Каждый вечер. Одно имя за другим. Я не знал этих людей. Не знал, сколько им лет, есть ли у них дети, боятся ли они смерти. Я знал только буквы. Чёрные, ровные, как иглы. Я обводил их, и через три дня эти люди умирали. Всегда через три дня.

Так учили. Так было надо.

Но однажды я спросил: «Кто даёт имена?»

Мне не ответили. Настоятель промолчал. Старшие писаря отвели глаза. И тогда я понял: они не знают. Или боятся. Или и то, и другое.

Я начал искать. Тайком. По ночам. В архивах и на чердаках, куда не ступала нога при-слуги. Я искал ответ. И нашёл.

В самой высокой башне Обители, за дверью, окованной железом, сидел человек. Он был стар. Он был сух, как пергамент. Он писал. Перо скрипело по странице — ровно, размеренно. Он не обернулся, когда я вошёл. Он даже не поднял головы.

— Ты пришёл, — сказал он. — Я ждал.

Я спросил его: кто он. И он ответил: «Судьба».

Он сказал, что триста лет назад он был таким же писарем, как я. Он задал тот же вопрос. И нашёл этот кабинет. И сел за этот стол. И начал писать сам. Своей рукой. Свои имена. Свои решения. Он стал Судьбой, потому что не мог доверить это никому другому.

Я смотрел на него и думал: «Я не хочу быть им. Я не хочу сидеть здесь триста лет. Я не хочу решать, кто умрёт».

А потом он встал. Подошёл к окну. Посмотрел на меня. И спросил:

— Ты хочешь занять моё место?

Я не ответил. Я просто подошёл к столу. Сел на его стул. Взял его перо. И — начал писать.

Триста лет. Тысячи имён. Тысячи смертей. Один человек. Одна рука. Одно перо.

Я думал, что смогу остановиться. Я думал, что найду способ. Я думал, что кто-то придёт и освободит меня. Но никто не приходил. Никто не задавал вопросов. Никто не искал ответов. Они просто обводили имена. Как я когда-то. Как все.

Пока однажды я не увидел в Книге её имя.

Оно было другим. Не как у всех. Ярче. Сильнее. Оно горело на странице, как искра. Я смотрел на него и понимал: это она. Та, кто сможет. Та, кто поверит. Та, кто не побоится спросить: «Кто даёт имена?»

Я ждал её.

Я ждал, когда она обведёт моё имя. Когда она поднимется по лестнице. Когда откроет дверь. Когда скажет: «Я поверю».

Я не знал, сколько ещё смогу ждать. Триста лет — это долго. Слишком долго. Я устал. Я хотел покоя. Или ничего. Но я ждал. Потому что знал: она придёт. Она должна прийти.

А пока — я пишу.

Каждый вечер. Одно имя за другим. Я не знаю их лиц. Не знаю их историй. Я знаю только буквы. Чёрные, ровные, как иглы. Я обвожу их. И через три дня эти люди умирают. Всегда через три дня.

Так учили. Так было надо.

Пока она не пришла.

ГЛАВА 1. «ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ»

Перо коснулось страницы, и Власья поняла, что убивает.

Она обвела имя быстро, не глядя, как учили. Радомир, сын Любомира. Чернила высохли мгновенно. На среднем пальце осталась чёрная полоса — как ожог. Перо всё ещё было тёплым. Как будто держало чужую кровь.

Она не знала, кто такой Радомир. Не знала, сколько ему лет, есть ли у него семья, боится ли он смерти. Она знала только имя. Этого было достаточно. Так учили: не думать, не чувствовать, не спрашивать.

Она вернулась в келью. Легла. И только тогда поняла, что не спросила у Книги главного. Не «кто он?». А «зачем я его убила?».

Книга не отвечала.

Три часа спустя она сидела в скриптории и смотрела на имя брата.

Кровь на пере была не её. Чернила расползлись по буквам, и имя стало похоже на рану — Лукаш, сын Радомира. Она обвела его час назад. Оставалось шестьдесят восемь.

В скриптории пахло воском и чернилами. Воск — от свечей, которые меняли четыре раза в сутки; чернила — от чернильниц, которые никогда не мыли, только доливали. Запах был густой, тёплый, привычный. Власья вдыхала его два года и перестала замечать. Сегодня — заметила. Как будто кто-то снял с неё кожу, и всё стало слишком ярким.

Стол, за которым она сидела, был старый — дубовый, с царапинами по краю. Царапины оставили писаря до неё: кто-то резал пером, кто-то — ногтем. Власья знала каждую. Была одна — длинная, кривая, от угла до середины, — которую она сама процарапала в первую неделю, когда руки не слушались. Она тогда думала: «Если выцарапать линию, станет легче». Не стало.

Свеча стояла в глиняном подсвечнике, оплывшая, с натёками воска по бокам. Воск капал на стол — капля за каплей, — и Власья машинально собирала его ногтем, скатывала в шарик, клала на край. За два года она скатала тысячи таких шариков. Они лежали в ящике стола, серые, твёрдые, как камешки. Лукаш собирал камешки. Он бы обрадовался.

Она отложила перо. Средний палец у неё был длиннее указательного, и Настоятель когда-то сказал: «Такие пальцы у тех, кто пишет больше, чем думает». Она тогда не поняла, комплимент это или приговор. Теперь понимала.

В тёмном стекле чернильницы отразилась девушка, которую она не узнавала. Узкое лицо, слишком бледное даже для писаря — а писарям солнца не положено, они живут при свечах. Тёмные волосы стянуты в узел на затылке так туго, что на висках выступили жилы. Глаза серые,

как олово, с красными прожилками от бессонницы. Левое веко дёргалось. Власья знала: когда она устаёт, веко начинает дёргаться. Сейчас дёргалось.

Под платьем, на шнурке, у самого сердца, лежал камешек. Серый, гладкий, с реки. Лукаш нашёл его, когда ему было семь, и подарил ей — «чтобы ты не забывала, откуда ты». Она не забывала. Она трогала камешек каждую ночь, перед сном, и представляла Ольховку: реку, мостки, брата, который сдувает волосы со лба, потому что они вечно лезут в глаза. Сейчас она трогала его и не чувствовала ничего. Камешек был холодный. Как и всё остальное.

Два часа назад она поняла, что сделала. Час назад перестала дышать — и только сейчас заметила, что дышит.

Кровь на пере была не её. Кровь была Книги.

Через час он вошёл в дверь её кабинета.

Власья не слышала шагов — она вообще ничего не слышала, кроме собственного сердца, которое вдруг забилося слишком быстро. Дверь открылась без стука.

Он вошёл — высокий, шире в плечах, чем полагалось стражнику, с книгой под мышкой. Форменный кафтан Обители сидел на нём криво: воротник заломлен, пуговица на груди болталась на одной нитке. Волосы тёмно-русые, коротко стриженные по уставу, но на макушке упрямо торчала прядь, будто он только что провёл по ней рукой. Лицо у него было неправильное для стражника: слишком мягкое, без шрамов и без той тупой уверенности, которую Власья привыкла видеть у людей с мечом. Нос прямой, губы чуть полноватые, и на левой щеке — едва заметная ямка от старого шрама, будто кто-то когда-то провёл по коже ногтем.

Он сказал:

— Ты Власья? Новый писарь?

Она кивнула. Голос не шёл.

— Я Радомир. Меня приставили к твоему крылу. — Он поднял книгу, будто извиняясь. — Читаю ночами. Не донесёшь?

Власья смотрела на его руки. На левом запястье, под обшлагом, проступала метка — меч, тонкий, как игла. Такие метки были у стражи. Она знала это. Знала, что час назад обвела на странице имя Радомир, сын Любомира и не спросила, кто он.

Теперь спросила. Мысленно.

— Что ты читаешь? — сказала она вслух, потому что молчать было хуже.

— «Хронику Свободных». Ересь. — Он улыбнулся, и ямка на щеке стала глубже. — Не выдашь?

— Я пишу имена. Я не доносчик.

— Разница небольшая.

Он сел на край стола — не на стул, а на стол, прямо на её список, — и Власья впервые за два года почувствовала что-то похожее на раздражение. Живое, тёплое раздражение. Оно было приятнее пустоты.

— Слезь, — сказала она.

— Ты первая, кто сказал мне это без страха.

— Я не боюсь тебя.

— Знаю. — Он смотрел на неё внимательно, без насмешки. — Поэтому и сел.

Он всё-таки слез. Положил книгу на стол — «Хроника Свободных», потрёпанный переплёт, загнутые углы. Его пальцы коснулись её запястья — случайно, на полсекунды. Власья отдернула руку. Слишком быстро. Он заметил. Ничего не сказал.

Тишина повисла между ними — тяжёлая, густая. Власья слышала, как скрипит перо в соседней комнате (там работал старый писарь, глухой, он всегда скрипел), как капает воск со свечи, как дышит Радомир. Ровно. Спокойно. Как будто он никуда не торопился.

— Ты всегда такая? — спросил он.

— Какая?

— Тихая. Как будто тебя нет.

Власья не ответила. Она думала о том, что через три дня — нет, уже через два, потому что день начался, — этот человек умрёт. Сердце остановится. Или он упадёт с лестницы. Или подавится хлебом. Книга не выбирала способ — она выбирала срок. Три дня. Всегда три дня. И она, Власья, не могла ничего сделать.

— Я есть, — сказала она наконец. — Просто не для всех.

Он посмотрел на неё. Без улыбки. И кивнул, будто она сказала что-то важное.

— Ладно. Я пойду. — Он забрал книгу. У двери обернулся. — Если ночью будет страшно — стучи. Я в караулке за углом. Не сплю.

И вышел.

Власья сидела неподвижно. Потом опустила руку под стол, нащупала шнурок, потянула. Камешек выскользнул из-под платья, лёг в ладонь. Холодный. Гладкий. Лукаш.

Она обвела его имя час назад.

Она не знала, что делать.

Сейчас, в «час тишины», она сидела над Книгой и смотрела на имя брата. Лукаш, сын Радомира. Ему двенадцать. Он живёт в Ольховке с тёткой, которая не любит его — «обуза», — и пишет ей письма. Корявые, с ошибками. «Здравствуй, сестра. У нас холодно. Тётка говорит, ты умерла. Я сказал, что ты не умерла. Она сказала, что все писали умерли. Я сказал, что ты не такая. Она ударила меня по губам. Я не плакал. Приезжай. Лукаш».

Двадцать три письма. Она не ответила ни на одно.

Она помнила его руки. Маленькие, в цыпках, с обкусанными ногтями. Он всегда сдвигал волосы со лба — они лезли ему в глаза, а он злился и сдвигал. Однажды она спросила: «Почему не подстрижёшь?» Он сказал: «Тогда ты не узнаешь меня, когда вернёшься».

Она помнила мостки. Деревянные, скользкие, у самого берега. Когда её забирали в Обитель — два года назад, — Лукаш стоял на этих мостках и махал ей рукой. Он не плакал. Он никогда не плакал. Он просто стоял и махал, пока телега не скрылась за поворотом. Власья обернулась один раз. Он всё ещё махал. Маленькая фигурка в рубахе с чужого плеча. Она тогда подумала: «Я вернусь». Она не вернулась.

А перед мостками был двор. И крыльцо. Тётка стояла на крыльце — худая, сухая, с поджатыми губами. Она не перекрестила Власью на дорогу. Не сказала «прощай». Просто смотрела, как стражник Настоятеля ведёт девочку к телеге, и молчала. А когда телега тронулась, она повернулась и ушла в дом. Не хлопнула дверью. Просто закрыла. Тихо. Как будто ничего не случилось.

Власья помнила, как стражник держал её за плечо. Не больно. Но крепко. Как будто она могла убежать. Как будто она хотела. Она не хотела. Она просто шла. И смотрела на мостки. На Лукаша. На его руку, которая махала. Пока не скрылась.

Книга сказала: «Одно имя — за другое». Она спасла стражника — Книга забрала брата. Равновесие. Порядок. Так учили. Так было всегда. Она согласилась.

Она согласилась.

Власья закрыла страницу. Подняла перо. И — впервые за два года — заплакала. Слёзы шли медленно, по одной, как воск со свечи. Они падали на стол, на царапины, на шарики воска. Она не вытирала. Не могла. Руки не слушались.

Свеча догорела до половины. Дальше — темнота. Власья сидела в темноте и смотрела на имя брата, которого больше не было.

ГЛАВА 2. «ЧАС ТИШИНЫ»

Власья не стала писать.

Она вернулась в келью, легла на узкую койку, накрылась одеялом с головой — и решила: не буду. Пусть Книга зовёт. Пусть кровь на стенах. Пусть что угодно. Она не возьмёт перо. Она не убьёт ещё одного.

Первый час прошёл тихо. Она лежала и считала шаги стражи в коридоре: двадцать три от караулки до поворота, потом обратно. Двадцать три. Потом снова. Потом снова. На двадцать третьем она сбилась и начала заново.

На втором часу заныло в висках. Тонко, как комар. Власья перевернулась на другой бок. Комар не уходил.

На третьем часу комар превратился в молоток. Он бил изнутри, в левый висок, ровно, размеренно, в такт шагам. Она села на койке. В келье было темно — свечу она не зажигала. И в темноте, на стене, напротив койки, проступало пятно. Тёмное. Власья знала, что это. Она видела такое один раз, два года назад, когда старая писарь отказалась писать имя.

Кровь на стене складывалась в буквы. Лукаш, сын Радомира.

Она отвернулась. Закрыла глаза. Молоток в виске стал чаще.

На четвёртом часу её стошнило. Власья едва успела дотащиться до ведра в углу. Её трясло. Руки леденели, лицо горело. Она легла обратно, и кровь на стене — она видела её даже с закрытыми глазами, кровь была внутри век, — пульсировала в такт молотку.

На пятом часу пришёл зов.

Она не сразу поняла, что это он. Сначала просто захотелось встать. Потом — идти. Ноги сами нашли пол, руки сами нащупали дверь. Она не решала идти в скрипторию. Она просто оказалась в коридоре — босая, в одной рубахе, с распущенными волосами, — и шла. Стража у караулки спала. Или делала вид. Никто её не остановил. Наверное, знали: писаря не остановишь, когда Книга зовёт.

В скриптории горела свеча. Сама. Власья не зажигала её. Книга лежала открытой на столе — на той самой странице. Перо лежало рядом. Чернильница была полна.

Она села. Взяла перо. Рука не дрожала. Это было хуже всего: рука не дрожала.

Имя Лукаш, сын Радомира смотрело на неё со страницы. Чёрное, ровное, обведённое её собственной рукой шесть часов назад. Оставалось шестьдесят два.

Власья поднесла перо к странице. И остановилась.

«Нет», — сказала она себе. И вслух: — Нет.

Она отложила перо. Встала. И пошла обратно — в келью, в темноту, в молоток. Она не знала, сколько выдержит. Но она не будет писать.

Она продержалась до утра.

Утром её нашли на полу кельи. Она лежала у двери, скрючившись, и её рвало желчью — больше нечем было. Кровь на стене высохла и стала бурой. Кто-то из прислуги закричал. Кто-то побежал за лекарем. Власья слышала всё как сквозь воду.

Лекарь — сухой старик с дрожащими руками — пощупал её лоб, покачал головой, дал какие-то капли. Капли не помогли. Он ушёл. Пришла другая прислуга, обтерла ей лицо мокрой тряпкой, дала воды. Власья выпила. Её стошнило снова.

К полудню пришёл Настоятель.

Она услышала его раньше, чем увидела: тяжёлые шаги, размеренные, с лёгким скрипом левого колена. Скрип приближался. Замер у двери. Дверь открылась.

Настоятель Варфоломей был высокий и сухой, с прямой спиной — не горбился, несмотря на возраст. Лицо длинное, аскетичное, с глубокими носогубными складками, кожа сухая, как пергамент. Глаза светло-голубые, почти прозрачные — как лёд. Он смотрел не на неё, а сквозь неё. Седые волосы до плеч, всегда чистые, всегда одинаково уложенные: ни один волосок не выбивался. Чёрная ряса с серебряной застёжкой в виде пера — единственное украшение. На правой руке — обручальное кольцо. Жены не было двадцать лет. Власья знала это от прислуги.

Он остановился в дверях и посмотрел на бурую кровь на стене. Молчал. Потом перевёл взгляд на Власью.

— Ты саботировала, — сказал он. Не спросил. Констатировал.

Власья не ответила. Горло горело.

— Ты знаешь, что бывает с теми, кто саботирует?

— Знаю, — прошептала она.

— Тогда зачем?

Она молчала. Он подошёл ближе, присел на корточки — не согнув спину, только колени, — и посмотрел ей в лицо. Вблизи глаза у него были не ледяные. Усталые. Как у человека, который давно не спит.

— Я знаю, почему ты это сделала, — сказал он тихо. — Ты думаешь, что если не писать — то не убьёшь. Это не так. Книга всё равно запишет. Твоей рукой, пока ты без сознания. Или

моей. Или ничьей. Но запишет. Ты не можешь остановить Судьбу, Власья. Ты можешь только выбрать, как её встретить.

— Я не хочу выбирать, — сказала она. — Я не хочу никого убивать.

— Ты не убиваешь. Ты записываешь. Разница.

— Для Лукаша нет разницы.

Он замолчал. Встал — снова не согнув спины, только выпрямив колени. Посмотрел на неё сверху вниз.

— Твой брат жив, — сказал он. — Пока ты служишь — он под защитой Обители. Тётка получает деньги. Ему хватает еды. Он ходит в школу при церкви. Ты знала об этом?

Власья не знала. Она смотрела на него и чувствовала, как молоток в виске стихает. Медленно, неохотно, но стихает.

— Ты не писала ему, — продолжал Настоятель. — Я знаю. Писарям нельзя. Но я знаю, что ты пишешь. Двадцать три письма. — Пауза. — Я не отбирал их. Потому что ты служишь. Пока ты служишь — он жив. Ты понимаешь, что будет, если ты перестанешь?

Власья понимала.

— Он умрёт? — спросила она. Голос был чужой.

— Он перестанет быть под защитой. — Настоятель поправил застёжку-перо. — А в Ольховке сейчас голодно. Тётка старая. Лукаш — обуза. Ты знаешь, что делают с обузами в голодные годы?

Она знала. В Ольховке так было всегда: лишних детей отдавали в работники, а если не брали — выгоняли. Зимой. В лес.

— Ты не сделаешь этого, — сказала она. — Ты не такой.

— Я такой, — сказал он спокойно. — Я Настоятель. Я сохраняю равновесие. Если для этого нужно, чтобы мальчик в Ольховке остался под защитой — он останется. Если для этого нужно, чтобы он перестал быть под защитой — он перестанет. Я не жестокий, Власья. Я просто не выбираю между людьми. Я выбираю между порядком и хаосом. И всегда выбираю порядок.

Он повернулся к двери. Скрипнул коленом.

— Вечером ты обведёшь имя, — сказал он, не оборачиваясь. — Я знаю, что ты не хочешь. Но ты обведёшь. Потому что иначе Книга запишет сама — и тогда она заберёт не одно имя, а два. Его — и ещё одно. Чьё — ты узнаешь. Ты понимаешь?

— Понимаю.

— Хорошо. — Он вышел. Шаги удалились. Потом тишина.

Власья лежала на полу и смотрела в потолок. Молоток в виске стих. Кровь на стене поблёкла, стала почти невидимой. Зов отступил — не ушёл, но отступил. Будто Книга ждала.

Она сдалась вечером.

Книга давала новое имя каждый вечер. Имя Лукаша лежало на отдельной странице, заложеной лентой, — оно ждало своего срока. Сегодня Книга просила другое.

Власья села за стол. Взяла перо. Книга лежала открытой — на той же странице, но имя было другое. Мирослава, дочь Горазда. Власья не знала, кто это. Она не хотела знать. Она обвела имя — быстро, не глядя, — и отложила перо. Чернила высохли мгновенно. На среднем пальце осталась чёрная полоса — как ожог. Власья посмотрела на неё и подумала: это не моя кровь. Это чернила. И не поверила себе.

Она вернулась в келью. Легла. И только тогда поняла, что Настоятель не сказал ей главного. Он сказал: «Твой брат под защитой. Пока ты служишь». Он не сказал: «Твой брат жив».

Власья потянула шнурок. Камешек лёг в ладонь. Она сжала его так, что побелели пальцы. И впервые за два года почувствовала что-то, кроме пустоты. Страх. Настоящий, живой, острый страх — не за себя. За него.

Она не знала, что делать. Но она знала, что будет делать. Не для Книги. Не для Настоятеля. Для Лукаша.

ГЛАВА 3. «БИБЛИОТЕКА»

Прошло два дня.

Власья считала их по свечам: каждая сгорала за шесть часов, в скриптории их меняли четыре раза в сутки. Два дня — восемь свечей. Восемь свечей с того утра, когда она сдалась. Восемь свечей с тех пор, как имя Мирославы, дочери Горазда, высохло на странице.

Она не знала, кто такая Мирослава. Не хотела знать. Но имя застряло в голове, как заноза: Мирослава, дочь Горазда. Горазд — это имя она слышала. Стражник Горазд, коренастый, с короткой шеей и вечной щетиной. Он служил в Обители третий год. Неужели у него была дочь? Власья не спрашивала. Писарям не положено знать, чьи имена они пишут. Писарям положено писать и забывать.

Она не забывала. Ни одного имени. Ни одной смерти. Они копились в ней, как письма в шкатулке под кроватью.

Шкатулка была старая, деревянная, с треснувшей крышкой. Лукаш сделал её сам — из дощечек, которые нашёл на берегу. Кривая, с занозами, но с крышкой. «Чтобы письма не рассыпались», — сказал он. Власья хранила в ней двадцать три письма. Каждое — сложенное вчетверо, перевязанное ниткой. Она не отправляла их. Писарям нельзя. Но и не выбрасывала. Когда становилось совсем невыносимо, она открывала шкатулку и читала. По одному. Медленно. Как молитву.

На третий день после саботажа Настоятель вызвал её к себе.

Кабинет был на втором этаже — большой, с окном во двор. На столе — бумаги, чернильница, застёжка-перо (он снимал её, когда работал). На стенах — портреты прежних Настоятелей: сухие лица, тёмные рысы, одинаковые глаза. Власья стояла у двери. Он не предложил сесть.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил он.

— Хорошо.

— Хорошо. — Он кивнул. — Иди.

Она вышла. И только в коридоре поняла: он не наказал её. Он просто знал, что она сдалась. Это было хуже любого наказания.

Вечером она не могла спать.

Келья была маленькая, душная. Стены давили. Власья лежала, смотрела в потолок и считала трещины — их было семнадцать. На восемнадцатой она встала, накинула платье поверх

рубахи и вышла в коридор. Стража у караулки спала. Или делала вид. Она прошла мимо — тихо, босиком, — и свернула не к скриптории, а в другую сторону.

В библиотеку.

Библиотека Обители была не такой, как скриптория. Скриптория — это работа: столы, чернильницы, списки. Библиотека — это память: стеллажи до потолка, запах пыли и старой кожи, тяжёлые книги, которые никто не читал годами. Пахло мышами — тёплыми, живыми, — и воском, и ещё чем-то сладковатым, как засохший мёд. Свеча горела только одна — у входа, в глиняном подсвечнике. Её света хватало на три шага. Дальше — темнота, стеллажи, пыль.

Сюда пускали только Настоятеля и писарей. Страже вход был запрещён. Власья знала это. Она шла туда не читать. Она шла туда не думать.

Дверь была приоткрыта. Внутри горела свеча.

Власья остановилась. Потом толкнула дверь.

Он сидел на полу между стеллажами — высокий, нелепый, с книгой на коленях. Кафтан он снял, бросил рядом; в одной рубахе, с закатанными рукавами, он казался меньше и моложе. Прядь на макушке торчала, как всегда. Ямка на щеке была глубже в тени. Свеча стояла на полу перед ним — оплывшая, с натёками воска. Воск капал на камень — капля за каплей.

Он поднял голову. Не испугался. Улыбнулся.

— Ты знаешь, что страже запрещено читать? — сказал он.

— Знаю, — сказала Власья. — А писарям запрещено разговаривать со стражей.

— Мы оба преступники. — Он подвинулся, освобождая место на полу. — Садись.

Она не села. Стояла в дверях, босая, с распущенными волосами, и чувствовала себя голой. Он смотрел на неё без насмешки. Просто смотрел.

— Что ты читаешь? — спросила она.

— «Хронику Свободных». — Он поднял книгу. — Ту же, что и в прошлый раз. Не дочитал. Ты не донесла?

— Я никому не сказала.

— Почему?

Власья не ответила. Она думала о том, что этот человек умрёт меньше чем через сутки. И что она ничего не сделала, чтобы это остановить. Пока — ничего. Она не знала, зачем вообще пришла сюда. Не знала, как спасти. Но она была здесь. И это было хоть что-то.

— Садись, — сказал он снова. — Я не кусаюсь.

Она села. На расстоянии — на полу, спиной к стеллажу, колени к груди. Он не приблизился. Между ними лежала книга — «Хроника Свободных», потрёпанный переплёт, загнутые углы.

— Что ты чувствуешь, когда пишешь? — спросил он.

Власья вздрогнула. Вопрос был неожиданный. Не «как это — убивать?», не «тебе не страшно?». А «что ты чувствуешь».

— Ничего, — сказала она.

Он посмотрел на неё внимательно.

— Врёшь.

— Не вру. Я стараюсь ничего не чувствовать. Иначе сойду с ума.

— И получается?

Власья молчала. Свеча потрескивала. Где-то за стеной скрипнула дверь — далеко, не в библиотеке. Она сжала колени.

— Сегодня — нет, — сказала она тихо.

— Почему сегодня?

Она посмотрела на него. Долго. Он не отводил взгляд.

— Потому что сегодня я впервые вижу лицо того, чьё имя написала.

Тишина. Радомир медленно закрыл книгу.

— Моё?

— Твоё.

Он не вскочил. Не закричал. Просто сидел. Это было страшнее.

— Сколько у меня? — спросил он.

— Было три дня. Осталось меньше суток.

Он кивнул. Будто услышал, что завтра будет дождь.

— Хорошо.

— Хорошо?! — Власья впервые повысила голос. — Ты умрёшь.

— Я знал, что умру молодым. — Он пожал плечами. — Дед говорил: «Наша кровь не живёт долго». Я думал, будет война, кровь, крики. А тут — тихо. Свеча. Книга. Ты.

— Ты не боишься?

— Боюсь. — Он смотрел на неё спокойно. — Но не смерти. Боюсь, что ты будешь винить себя.

— Я должна себя винить. Я — рука.

— Ты — не рука. — Он подался вперёд. — Ты — человек, которого заставили быть рукой. Это разные вещи.

Власья отвернулась. Она не плакала — не умела. Но плечи дрожали, и она ничего не могла с этим сделать.

— Власья.

— Что?

— Если ты попробуешь меня спасти — я не буду против. Но если не получится — не вини себя. Договорились?

Она не ответила. Встала. У двери обернулась.

— Я не умею не винить себя. Этому не учат в Обители.

Она вышла. И только в коридоре поняла, что не спросила главного. Он сказал: «Дед говорил: наша кровь не живёт долго». Он сказал это так, будто знал больше, чем говорил. Будто ждал этого разговора.

Она вернулась через час.

Он всё ещё сидел на полу. Книга лежала закрытой. Свеча догорела до половины. Воск застыл на камне — серые лужицы.

— Ты не ушла, — сказал он.

— Ты знаешь что-то, — сказала Власья. — О писаре Всеволоде. Ты сказал в прошлый раз: «Мой дед видел, как Всеволод умирал». Ты знаешь, как он умер?

Радомир долго молчал. Потом откинулся назад, прислонился затылком к стеллажу. Посмотрел в потолок — туда, где темнота сгушалась в углах.

— Мой дед был стражником в Обители, где писарь Всеволод пытался спасти человека, — сказал он. — Это было двести лет назад. Дед рассказывал мне эту историю перед смертью. Он говорил: «Я видел, как писарь пытался вычеркнуть имя. Я видел, как он умер. И я ничего не сделал». Голос у него был... — Радомир замолчал. — Как будто он всё ещё там. В той комнате. Смотрит.

— Почему ничего?

— Потому что боялся. — Радомир смотрел в потолок. — Ему было двадцать. Он стоял и смотрел, как писарь корчится на полу, и ничего не делал. А потом пошёл и донёс Настоятелю. Писаря сожгли. Человека, чьё имя он пытался вычеркнуть, тоже — Книга забрала его в срок. Дед прожил ещё шестьдесят лет. И все шестьдесят лет он просыпался от того, что видел лицо Всеволода.

— Зачем ты мне это рассказываешь?

Радомир повернул голову. Посмотрел на неё.

— Потому что я — его кровь. Я вырос с этой историей. Я знаю, что бывает, когда боишься. — Пауза. — И я знаю, что не буду бояться. Если придёт время — я не буду стоять и смотреть.

Власья смотрела на него. Впервые за два года она видела человека, который говорил не о правилах, не о порядке, не о Судьбе. Человека, который говорил о себе.

— Ты поэтому пошёл в стражу? — спросила она. — Чтобы быть рядом с тем, что сломало твоего деда?

— Поэтому. — Он усмехнулся. — Глупо, да?

— Нет. — Она покачала головой. — Не глупо.

Они сидели в тишине. Свеча догорела до половины. Дальше — темнота.

Власья хотела встать. Но не успела. За стеной, в коридоре, слышались шаги. Тяжёлые. Размеренные. Стража. Они приближались. И — остановились где-то рядом. За дверью.

Радомир мгновенно погасил свечу пальцами. Темнота накрыла их, густая, как чернила. Власья замерла. Она не видела его, но чувствовала — он рядом. Очень близко. Его рука нашла её плечо. Сжала. Тихо. Предупреждая: «Не двигайся».

Шаги за дверью. Скрип половицы. Голос. Приглушённый: «В библиотеке кто-то есть?» Второй голос: «Не должно быть. Наверное, мыши». Пауза. Власья слышала, как дышит Радомир. Как её собственное сердце бьётся где-то в горле. Как воск капает на камень — единственный звук в этой тишине.

Радомир придвинулся ближе. Прижал её к стеллажу. Она чувствовала его грудь. Его запах — дым, пыль, что-то тёплое. Его рука скользнула с плеча выше — и закрыла ей рот. Ладонь была тёплая, шершавая. Власья замерла. Не от страха. От чего-то другого. Что-то, чего она не чувствовала два года.

Шаги за дверью стихли. Дверь скрипнула — но не открылась. Стражник потоптался и ушёл. Его шаги удалялись. Медленно. Потом — совсем тихо.

Радомир не убрал руку сразу. Ещё секунду — две — он держал её так. Власья чувствовала его дыхание у виска. Тёплое. Неровное. Она не двигалась. Не хотела. Он тоже.

Потом он медленно убрал руку. Отстранился. Но не отступил. Она видела его silhouette в темноте. Он смотрел на неё. Долго. Она знала это. Чувствовала.

— Тебе надо идти, — сказал он хрипло.

— Знаю, — сказала она.

Она не двинулась. Он тоже. Между ними было расстояние — в ладонь. Меньше. Власья слышала, как бьётся его сердце. Или своё. Она не различала.

Он поднял руку. Медленно. Коснулся её волос — там, где они выбились из узла. Пальцы скользнули по виску. Власья задержала дыхание. Он наклонился. Ближе. Ещё ближе. Она чувствовала его губы — почти. На расстоянии вдоха.

И — отступил. Резко. Как будто обжёгся.

— Иди, — сказал он. — Пожалуйста.

Власья вышла. В коридоре было холодно. Она прислонилась к стене и стояла так, пока не перестало колотиться сердце. Потом пошла в келью. Легла. Закрыла глаза.

Она всё ещё чувствовала его ладонь на своих губах. И его дыхание. И то, как он отступил.

ГЛАВА 4. «ТРЕТИЙ ПУТЬ»

Лес начался сразу за стенами Обители — тёмный, мокрый, с запахом прелой листвы и грибов. Власья шла по тропе, которую ей описал старик-привратник: «Дойдёшь до осины с расщеплённым стволом — сверни налево. Там избушка. Только не ходи туда, девка. Она проклятая».

Она шла. В кармане платья лежало перо — она взяла его на всякий случай, хотя не знала, зачем писарю нужно перо вне Обители. Может, чтобы чувствовать себя собой.

Тропа была узкая, едва заметная — её почти затянуло травой. Ветки хлестали по лицу, мокрые после ночного дождя. Власья шла, поднимая руки, отводя их. Под ногами чавкало — грязь, листья, вода. Пахло грибами — сильными, сырыми, — и ещё чем-то гнилым, сладковатым. Где-то кричала птица. Не пела — кричала, резко, как будто ей было больно. Власья остановилась один раз, прислушалась. Птица замолчала. Тишина стала гуще.

Она шла дальше.

Осина с расщеплённым стволом появилась неожиданно — огромная, старая, с трещиной от корня до середины. Кора была серая, шершавая, в натёках смолы. Власья потрогала трещину. Холодная. Как будто внутри дерева — лёд.

Она свернула налево.

Избушка стояла на поляне, вросшая в землю по самые окна. Крыша просела, из трубы шёл дым — тонкий, серый, как нитка. Пахло дымом и шерстью. Власья остановилась в десяти шагах и только потом поняла, что стоит и принюхивается, как собака.

На крыльце сидела старуха.

Маленькая, сухая, с прямой спиной — как сучок. Лицо в глубоких морщинах, но глаза молодые: яркие, зелёные, живые. Контраст бил — Власья смотрела на глаза и не могла понять, сколько старухе лет. Седые волосы заплетены в толстую косу, перекинутую через плечо. Коса была длинная, до пояса, и ещё не редкая — седая, но густая. На левой ладони — шрам в форме креста. На правом запястье, не спрятанная, — метка. Разбитое перо.

Власья знала эту метку. Отступница. Проклятая.

— Ну, — сказала старуха, не поднимая головы от вязания. — Чего встала? Иди сюда. Я тебя ждала.

— Вы меня ждали?

— Я всех жду. — Старуха подняла глаза. Зелёные, яркие. — Садись. Только не на крыльцо, оно гнилое. На пенёк.

Власья села на пенёк. Он был трухлявый, мягкий, с мхом по краям. Старуха отложила вязание — серый шарф, недоделанный, — и посмотрела на неё внимательно. Спицы она не убрала — держала в руках, как держат нож. Или как держат память.

— Власья, — сказала она. Не спросила. — Писарь. Два года в Обители. Брат в Ольховке. Тётка — сволочь. Правильно?

Власья кивнула. Горло сжалось.

— Меня зовут Агафья. — Старуха усмехнулась. — И да, я проклятая. Не пугайся. Я не кусаюсь. Уже лет сорок как не кусаюсь.

— Вы знаете, зачем я пришла?

— Знаю. — Агафья покачала головой. — Ты написала имя. Ты хочешь его вычеркнуть. Все хотят. Все приходят ко мне с этим.

— И что вы говорите?

— Я говорю: нельзя. — Агафья подняла палец. — Вычеркнуть нельзя. Писарь умрёт, человек всё равно умрёт. Двойная смерть. Единственный documented случай — писарь Всеволод двести лет назад. Попробовал — умер. Человек тоже умер. Так что не пытайся.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.